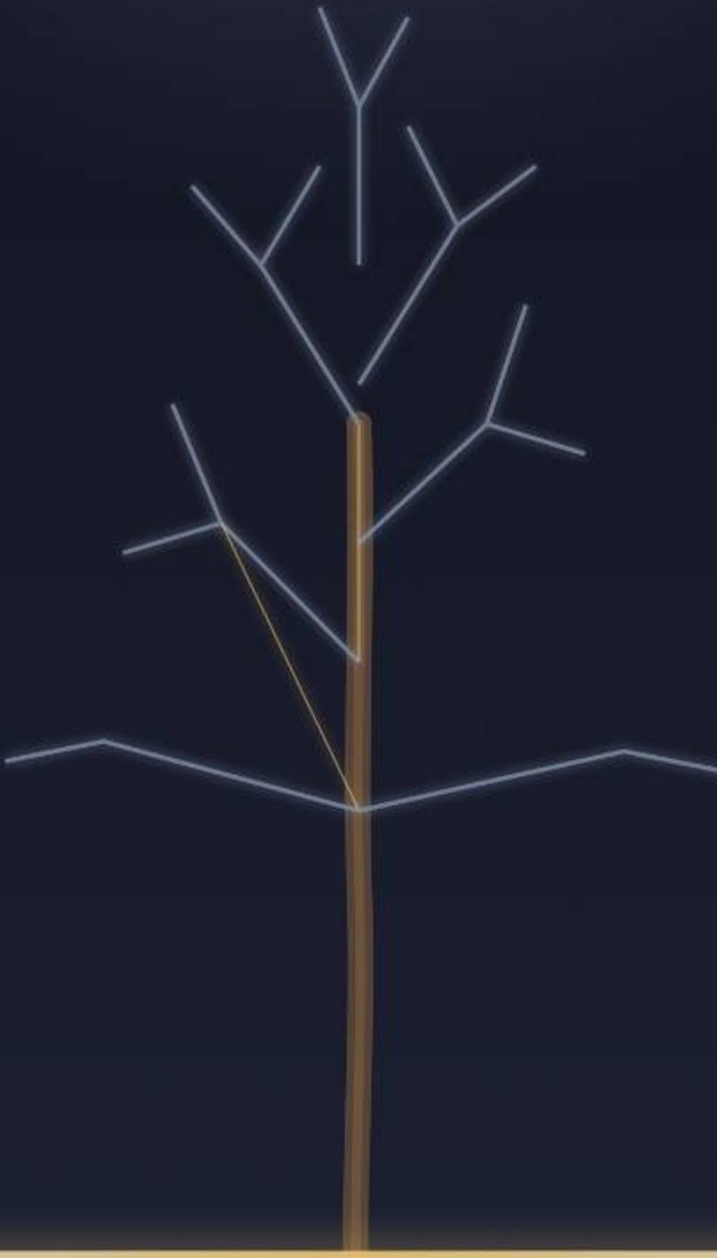




ТЕРЕМ СУДЬБЫ · КНИГА ПЕРВАЯ

НЕВЕСТА ДЛЯ СТРАЖА

Три невесты до неё не пережили любовь Стража.
Она решила, что станет исключением.

ДАРЬЯ ПОЛЫНЦЕВА

18+

18+

Дарья Полынцева

Невеста для Стража

«Автор»

2026

Полынцева Д.

Невеста для Стража / Д. Полынцева — «Автор», 2026

Три невесты до неё погибли или бесследно исчезли, полюбив Стража — хранителя Рубежа между миром живых и миром мёртвых. Ждану, чей дар оживлять угасающее в Тереме судьбы считали бесполезным рядом с провидицами и чарующими красавицами, отправляют невестой без права отказа: на кону мир между царством и Рубежом. Она готова к холодности и одиночеству — но не к тому, что чем ближе она подходит к правде о судьбе прежних невест, тем яснее становится: мрачная слава удела — не проклятие крови, а чья-то тщательно скрытая ложь. Раскрыть её раньше, чем эта ложь заберёт и саму Ждану, — единственный шанс на настоящую жизнь для них обоих.

Содержание

Невеста для Стража	5
Глава 1. Дар, которого стыдятся	6
Глава 2. Приговор	10
Глава 3. Прощание	14
Глава 4. Дорога на Рубеж	18
Глава 5. Первая встреча	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Дарья Полынцева Невеста для Стража

Невеста для Стража

Дарья Полынцева

Глава 1. Дар, которого стыдятся

Розовый куст под окном девичьей умирал уже третью неделю — сначала пожелтели нижние листья, потом стали ронять лепестки бутоны, а последние два дня он стоял и вовсе голый, чёрный, как обугленный, хотя земля вокруг была влажной и никакой хвори на нём заметно не было. Садовник Терема разводил руками и говорил, что куст этот сажен ещё при прежней княгине и своё, видно, отжил. Ждана в это не верила ни на грош — не потому, что понимала в розах больше садовника, а потому, что стоило ей присесть рядом и коснуться ладонью чёрной, безжизненной ветки, как под пальцами явственно, тепло откликалось что-то живое, просто очень уставшее.

— Ну же, — сказала она тихо, не столько кусту, сколько себе самой, — я же вижу, что ты ещё здесь.

Тепло из ладони потекло в ветку так, как течёт вода в пересохшую по весне борозду — не рывком, а ровно, неспешно, будто зная свою дорогу заранее. Через несколько долгих вдохов на чёрной ветке робко, ещё нетвёрдо проступила зелёная почка — крошечная, размером с ноготь мизинца, но живая, настоящая, а не пригрезившаяся с недосыпа.

— Опять с кустами возишься, — раздался за спиной насмешливо-ласковый голос, и Ждана, не оборачиваясь, улыбнулась — Усладу она узнавала по шагам ещё до того, как та успевала заговорить. — Тебе бы поучиться у Умилы Родионовны хоть чему-нибудь путному. Вчера при всём дворе угадала, что боярышня Всеслава к осени замуж выйдет — да ещё и назвала, за кого. А ты тут с розой полдня сидишь, чтобы одна почка вылезла.

— Роза не притворяется, — ответила Ждана, отряхивая юбку и поднимаясь на ноги. — А будущее, говорят, любит приврать не хуже человека.

Услава фыркнула — необходимо, скорее с той тёплой, привычной насмешкой, какой подшучивают друг над другом сёстры, — и присела на низкую скамейку у той же клумбы, поджав под себя ноги. Дар предчувствия у неё самой проявлялся редко и без всякой системы: то она за неделю точно знала, что пойдёт дождь в самый неподходящий для сенокоса день, то вдруг замирала посреди разговора с таким лицом, будто увидела что-то за плечом собеседника, а потом божилась, что ничего не видела и просто задумалась. Верховная княгиня находила это многообещающим. Ждана находила это скорее пугающим, чем завидным, — но вслух, конечно, не говорила.

Терем судьбы просыпался медленно, как просыпается всякий большой дом, где под одной крышей живёт три десятка девушек с самыми разными дарами и характерами. Внизу, во дворе, уже слышался стук деревянных вёдер — кто-то из младших воспитанниц носил воду для утреннего умывания; где-то в дальнем крыле кто-то распевался высоким, чистым голосом, пробуя, видно, новую песню; из поварской тянуло тёплым запахом хлеба, который пекли здесь по особому рецепту, доставшемся ещё от первой настоятельницы Терема. Ждана прожила здесь без малого пятнадцать лет — с того самого дня, как её, шестилетнюю, привезли сюда из дальней деревни после того, как соседи в один голос заявили княжеским дознавателям, что девочка «неладная»: способна оживить засохший сноп на печи одним прикосновением. Тогда это звучало страшно. Здесь, в Тереме, это оказалось просто одним из многих даров — не самым эффектным, но и не самым бесполезным, хотя порой Ждана в этом сомневалась.

— Тебя опять Верейка дразнила вчера? — спросила Услава, будто прочитав эти самые мысли, хотя для этого никакого особого дара не требовалось — Веренея Твердиславна дразнила Ждану так регулярно, что это давно стало частью распорядка дня, вроде утреннего умывания.

— Не дразнила, — вздохнула Ждана. — Хуже. Жалела. Сказала, что ей меня искренне жаль — сидеть всю жизнь среди горшков с цветами, пока других девушек забирают в жёны к настоящим властителям уделов.

— А ты?

— А я сказала, что горшки хотя бы не подожгут дом изнутри, если у них случится дурное настроение, — Ждана невольно улыбнулась, вспоминая собственную дерзость, за которую потом до самого вечера мысленно себя корила. Веренея владела чарами огня — эффектными, зрелищными, теми самыми, что заставляли придворных ахать на весенних смотринах, — и характер имела соответствующий, вспыльчивый и такой же яркий, как её дар.

Усилада рассмеялась в голос, запрокинув голову, и утренний свет, пробивавшийся сквозь молодую листву старой липы во дворе, лёг на её лицо неровными солнечными пятнами.

— Ты зря так уж принижаешь себя, знаешь, — сказала она уже серьезнее, отсмеявшись. — Я вот думаю: возьми меня саму, привези куда-нибудь в чужой удел, к чужому властителю, — и что толку в моём даре, если он работает раз в год, да и то невпопад? А твой дар — он ведь всегда с тобой. Ты всегда можешь помочь, если рядом кто-то угасает. Мне это кажется куда надёжнее пророчеств, если начистоту.

Ждана не нашлась, что ответить сразу — не потому, что не соглашалась, а потому, что вслух подобные мысли в Тереме звучать не привыкли: воспитанницы соревновались друг с другом за внимание наставниц и завидное распределение так же естественно, как дышали, и признавать чужой скромный дар «надёжным» было почти неприлично, если этот дар не твой собственный.

День покатился дальше своим привычным чередом — уроки словесности, на которых престарелая наставница Всемила Радимировна в сотый раз рассказывала о том, как правильно вести себя за столом чужого властителя (Ждана слушала это уже лет пять подряд, но никогда не признавалась, что помнит всё наизусть); работа в саду и в лечебнице Терема, куда Ждану звали чаще прочих — не потому, что её дар считали ценным сам по себе, а потому, что кто-то же должен был отпаивать захворавших воспитанниц травяными отварами и следить, чтобы горшки с целебными растениями на подоконниках лечебницы не засохли раньше срока.

В лечебнице в тот день лежала одна из младших, Голубка, — маленькая, лет одиннадцати девочка, третий день метавшаяся в лихорадке после неудачного купания в холодном пруду. Лекарка разводила руками: жар не спадал, а сама девочка от слабости почти не открывала глаз. Ждана села рядом, взяла её маленькую, горячую ладошку в свою и держала так долго, без единого слова, пока сама не почувствовала, как чужая слабость — не хворь целиком, дар этого не умел, а именно то тонкое, почти неощутимое истощение сил, что мешает телу бороться самому, — понемногу перетекает в её собственные ладони, оставляя взамен крупицу силы, которой самой Ждане в этот вечер, пожалуй, и не хватало.

— Полегчало, — прошептала Голубка час спустя, впервые за день открыв глаза уже ясно, не в бреду, и сонно, благодарно улыбнулась. — Ждана, у тебя руки как летнее солнце.

Никто в Тереме не напишет об этом в придворных хрониках, подумала Ждана, укладывая одеяло поудобнее и гася свечу у изголовья, — ни один посол не ахнет за столом, узнав, что воспитанница вылечила лихорадку у ребёнка не отваром и не заговором, а просто подержав за руку дольше, чем позволяло терпение. Но Голубка спала теперь спокойно, и это, пожалуй, стоило дороже иного зрелищного фокуса с пламенем или пророчеством.

Вечером, наконец, настала пора большой трапезы в общей зале, за длинным столом, где три десятка девичьих голосов сливались в один негромкий, тёплый гул.

Именно за этим столом, ковыряя вилкой пшённую кашу с мёдом, Ждана впервые за день по-настоящему задумалась не о собственном даре, а о том, что творится сейчас за пределами Терема — в самом царстве. Разговор за соседним краем стола шёл о чём-то, что заставляло говоривших понижать голос, а слушавших — придвигаться ближе.

— Говорю тебе, — доносился шёпот боярышни Голубы, — матушка моя писала, что при дворе снова заговорили о мире с Рубежом. Который год воюют, а тут вдруг — послы, дары, разговоры о союзе.

— С Рубежом? — переспросил кто-то с явным ужасом в голосе. — Да там же живого места нет, одна пустошь до самого горизонта. Кто ж туда согласится ехать послом, не то что невестой?

— А кто у нас вообще спрашивает согласия, — вставила третья, и за столом на мгновение повисла тишина — та самая, особая тишина, какая всегда наступает в Тереме при упоминании самого простого и самого неприятного факта их общей судьбы: ни одну из них, воспитанниц, формально ничьих дочерей, никто никогда не спрашивал, хочет ли она замуж за первого встречного властителя ради мира между уделами.

Ждана слушала этот разговор вполуха, как слушают случайную застольную болтовню, не примеряя её на себя, — мало ли о каких уделах и союзах судачат за этим столом каждый вечер, к утру половина слухов оказывается пустой, а другая половина забывается сама собой. Она доела кашу, помогла младшим убрать посуду и уже собиралась подняться к себе, когда в дверях залы показалась наставница Всемила Радимировна с таким лицом, какое бывает у человека, которому только что вручили весть, слишком важную, чтобы медлить с её передачей, и слишком неудобную, чтобы произносить её с лёгким сердцем.

— Ждана, — сказала наставница, и от того, каким тоном было произнесено её имя — без обычной ласковой строгости, а сухо, почти официально, — у Жданы внутри что-то неприятно сжалось ещё до того, как прозвучали следующие слова. — Тебя немедленно требует к себе верховная княгиня.

— Меня? — переспросила Ждана, невольно оглядываясь на Усладу, будто та могла своим даром предчувствия объяснить, что происходит, — но на лице подруги читалось только такое же растерянное недоумение. — А зачем, матушка Всемила? Я разве в чём провинилась?

— Не могу знать, — ответила наставница, и это было явной неправдой: что-то она определённо знала, просто не считала себя вправе говорить об этом раньше самой княгини. — Иди сейчас же. Она ждёт в верхних покоях, одна.

Одна — без обычной свиты советниц и наставниц, без церемонии, без предупреждения загодя, — это слово повисло в воздухе залы тяжелее, чем хотелось бы Ждане признавать. За все пятнадцать лет в Тереме её вызывали к верховной княгине лично от силы три раза, и каждый раз повод был из тех, что меняют если не всю жизнь, то уж точно распорядок следующих нескольких месяцев.

Она поднималась по узкой лестнице в верхние покои медленно, стараясь унять предательскую дрожь в коленях, а в голове одна за другой проносились обрывки сегодняшних разговоров — про мир с Рубежом, про послов и дары, про то, что никого из них, воспитанниц, никогда не спрашивают, хочет ли она того, что решают за неё где-то наверху, — и с каждой ступенькой ей всё меньше верилось, что вызов этот случайно совпал по времени с застольным шёпотом о пустоши на краю света.

На середине лестницы она остановилась на мгновение, прижав ладонь к холодному камню стены, — не отдышаться, дыхание не сбилось, — а чтобы дать себе одну честную секунду страха, прежде чем вновь надеть привычное лицо послушной воспитанницы. Дар подсказывал ей то же самое, что подсказывал всегда: если рядом что-то угасает, испуганное, слабое, нужно просто идти и коснуться, а не бежать. Вот только на этот раз угасающим и испуганным была она сама, и собственная ладонь на груди не особенно помогала.

«Может быть, — подумала она, заставляя себя снова тронуться вверх по ступеням, — это вовсе не про Рубеж. Может быть, кто-то из родни объявился, или матушка Всемила просто ошиблась тоном, и всё это окажется пустяком, о котором завтра будет смешно вспоминать за пшённой кашей».

Мысль была утешительной ровно настолько, чтобы дойти до тяжёлой дубовой двери верхних покоев, — и ровно настолько неубедительной, чтобы рука дрогнула, прежде чем постучать.

Глава 2. Приговор

Верховная княгиня Тридесятого царства сидела не за письменным столом, как обычно принимала воспитанниц по делу, а у окна, в низком кресле, с чашкой давно остывшего взвара в руках, — и уже одно это, самое обычное на вид кресло, подсказало Ждане больше, чем любые слова: разговор предстоял не служебный, а такой, для которого даже сама княгиня искала позу помягче.

— Проходи, дитя, — сказала она, не оборачиваясь сразу. — Присядь. Разговор у нас с тобой не быстрый.

Ждана присела на краешек указанной лавки, стараясь держать спину ровно, как учили с детства, хотя внутри всё сжалось так, что ровная спина давалась через силу. Княгиня наконец повернулась — немолодое уже, но по-прежнему властное лицо, глаза, которые за долгие годы правления научились не выдавать ровным счётом ничего, — и посмотрела на Ждану долгим, изучающим взглядом, каким смотрят не на провинившуюся, а на что-то ценное, что вот-вот придётся отдать в чужие руки против собственной воли.

— Ты знаешь, что происходит нынче при дворе? — спросила она наконец.

— Слышала за трапезой, матушка-княгиня, — осторожно ответила Ждана. — Что-то про мир с Рубежом. Про послов.

— Не про мир, — поправила княгиня мягко, но твёрдо. — Мир уже решён, дитя. Осталось решить, чем его скрепить. — Она отставила чашку и сложила руки на коленях тем жестом, каким люди готовятся сказать нечто, после чего разговор уже не повернуть вспять. — Скрепляют такие союзы издавна одним и тем же способом. Невестой из Терема. И в этот раз выбор пал на тебя.

Слова эти прозвучали ровно, буднично, почти по-домашнему — и от этой самой будничности стало только страшнее, будто речь шла не о судьбе живого человека, а о распределении обычных хозяйственных обязанностей. Ждана почувствовала, как в ушах на мгновение зашумело, а комната вокруг чуть покачнулась, хотя она по-прежнему сидела неподвижно.

— На меня, — повторила она едва слышно, не столько спрашивая, сколько пытаясь заставить слова обрести смысл через повторение. — Но... матушка, Рубеж же... там ведь...

— Там ведь три невесты не вернулись живыми за три поколения Стражей, — закончила за неё княгиня без обиняков, тем же ровным тоном, каким говорила обо всём остальном. — Я знаю, что знаешь и ты, дитя. В Тереме об этом шепчутся с тех пор, как ты под стол пешком ходила. Не буду лгать тебе и делать вид, что опасности нет. Она есть, и она настоящая.

— Тогда почему я? — вырвалось у Жданы прежде, чем она успела придать вопросу более почтительную форму. — Простите, матушка-княгиня, но почему именно я, если опасность так велика? У других воспитанниц дары ярче, знатнее род...

— Именно поэтому, — сказала княгиня, и в голосе её впервые за весь разговор прорезалось что-то похожее на настоящую усталость, не показную. — Знатных девиц бережём для знатных союзов, где риска меньше. А твой дар, дитя, — она обернулась и посмотрела в окно, туда, где виднелся тот самый розовый куст с единственной зелёной почкой, — единственный из всех, что у нас есть, способен хоть немного противостоять тому, что творится на землях Рубежа. Пустошь там не просто пустошь. Она забирает жизнь из всего, что оказывается рядом слишком долго. Три прежние невесты этого не пережили — не потому, что Страж поднял на них руку, как болтают невежды по трактирам, а потому, что сама земля выпивала их досуха быстрее, чем кто-либо успевал понять беду.

Эти слова падали одно за другим, как камни в тихую воду, и каждое поднимало новый круг холодного ужаса — но вместе с ужасом, помимо собственной воли, в Ждане шевельнулось и что-то ещё, куда более тихое и почти постыдное на фоне страха: если дело действительно в

угасающей земле, а не в чужой жестокой руке, значит, впервые в жизни её дар — тот самый, над которым посмеивалась Веренея и жалела Голуба, — оказался не бытовой мелочью для горшков с цветами, а единственным, что вообще давало кому-то хоть какой-то шанс выжить там, где не выжили трое до неё.

— Я могу отказаться? — спросила она всё же, хотя по лицу княгини уже понимала ответ заранее.

— Формально — да, — ответила верховная княгиня после долгой паузы. — Ни одну воспитанницу Терема не выдают силой, таков закон ещё со времён основания этого дома. Но подумай хорошенько, дитя, прежде чем воспользоваться этим правом. Без невесты из Терема мир с Рубежом не состоится. Без мира война, которая тлеет между нашими землями уже не первое десятилетие, вспыхнет снова — и вспыхнет там, у самой границы, где сейчас гибнут не воспитанницы по одной раз в поколение, а крестьяне и ратники сотнями каждую весну. Выбор перед тобой стоит настоящий, не для виду. Но лёгким он не будет в любом случае, что бы ты ни решила.

Ждана молчала долго — так долго, что за окном княгининых покоев успело чуть сместиться освещение, а тени на полу вытянулись на палец длиннее, чем были в начале разговора. Она думала о Голубке, уснувшей наконец спокойно этим вечером. Думала о розовом кусте с единственной зелёной почкой. Думала о том, что если она откажется — откажется по праву, данному ей самим законом Терема, — куда более знатную девицу, быть может, всё равно отправят следом, только уже без её дара, без единого шанса выжить там, где земля выпивает жизнь досуха.

— Я поеду, — сказала она наконец, и голос её прозвучал тише, чем ей бы хотелось, но твёрже, чем она сама от себя ожидала. — Не потому, что не боюсь, матушка-княгиня. Я боюсь очень сильно. Но если мой дар единственный, что может хоть кого-то там уберечь, — я не смогу жить дальше, зная, что отказалась и позволила отправить вместо себя другую, у которой и этого шанса не будет вовсе.

Верховная княгиня посмотрела на неё долгим взглядом, в котором неожиданно, на одно короткое мгновение, мелькнуло что-то похожее на неподдельное сочувствие — прежде чем снова скрыться за привычной маской властности.

— Ты храбрее, чем сама о себе думаешь, дитя, — сказала она тихо. — Дай Бог, чтобы храбрости этой хватило на всё, что тебя ждёт впереди. Сборы — три дня. Дольше медлить нельзя: послы Рубежа уже в пути.

Ждана вышла из верхних покоев уже другим человеком, чем поднималась туда четверть часа назад, — так, по крайней мере, ей самой казалось, пока она спускалась по той же узкой лестнице, механически переставляя ноги и почти не замечая ступеней. Услада ждала её внизу, у самого подножия, — не потому, что кто-то её предупредил, а потому, что пятнадцать лет дружбы приучили её безошибочно чувствовать, когда подругу лучше встретить, а не ждать в комнате.

— Ну? — только и спросила она, вглядываясь в лицо Жданы с тревогой, которую даже не пыталась скрыть.

Ждана не ответила сразу — не потому, что не доверяла Усладе, а потому, что сама ещё не до конца верила собственным словам, которые предстояло произнести вслух во второй раз за вечер. Она молча взяла подругу за руку и повела её не в общую спальню, а на маленький внутренний дворик за поварской, куда в этот час уже никто не заходил, — и там, в темноте, пахнувшей остывающей золой из поварских печей, пересказала весь разговор от первого до последнего слова.

Услада слушала, не перебивая, только всё крепче сжимая руку Жданы, а когда рассказ подошёл к концу, долго молчала, глядя куда-то в темноту над крышами Терема.

— Ты могла отказаться, — сказала она наконец, тихо, без упрёка, скорее с болью. — Закон на твоей стороне. Никто бы тебя не осудил.

— Кто-то бы осудил, — не согласилась Ждана. — Я сама, каждый день до конца жизни, зная, что вместо меня туда отправили бы другую, у которой и шанса такого, как у меня, не было бы вовсе.

— Ты всегда такая, — вздохнула Услава, и в голосе её смешались одновременно раздражение и что-то похожее на гордость. — Готова отдать последнюю рубашку первому встречному, у кого замёрзли руки, а о себе самой подумать в последнюю очередь.

— Может быть, — Ждана слабо улыбнулась в темноте. — Но ты бы поступила так же. Не спорь, я тебя пятнадцать лет знаю.

Спорить Услава не стала — только придвинулась ближе и обняла подругу крепко, без слов, тем объятием, которое говорит куда больше, чем любые уверения, что всё будет хорошо. Обе прекрасно понимали, что подобных уверений сейчас никто честно дать не может.

Весть о новой невесте для Рубежа разошлась по Терему быстрее, чем Ждана успела бы того пожелать, — уже к утру следующего дня об этом знала, кажется, каждая воспитанница, от самых старших до совсем маленьких девочек вроде Голубки. Реакции были разные, и не все — приятные: кто-то смотрел на Ждану с искренним ужасом пополам с жалостью, как смотрят на приговорённую; кто-то, не таясь, шептался за спиной с явным облегчением, что жребий пал не на них самих; а кто-то и вовсе старался поскорее отвести взгляд, будто несчастье было заразным.

Самой неожиданной оказалась встреча с Вереней Твердиславной — той самой, что накануне жалела Ждану за скучный дар среди горшков с цветами. Огненная боярышня поймала её в коридоре между уроками, остановила коротким жестом и несколько долгих секунд молчала, явно подбирая слова, непривычные для собственного острого языка.

— Я слышала, — сказала она наконец, без обычной насмешки в голосе. — Про Рубеж. — Она помолчала ещё немного, а затем добавила уже тише, почти смущённо: — Мне жаль, что я вчера так сказала про горшки. Не знала, что тебе и вправду придётся ехать туда, где это может пригодиться по-настоящему.

— Ничего, — ответила Ждана, удивлённая этим неловким, но искренним извинением едва ли не больше, чем самой вестью накануне. — Ты же не знала.

— Всё равно, — упрямо повторила Вереня, и в этом упрямстве Ждана вдруг узнала что-то очень похожее на собственный характер, только одетое в куда более яркие, огненные одежды. — Возвращайся, слышишь? Не геройствуй там понапрасну.

Она развернулась и ушла раньше, чем Ждана успела бы ответить хоть что-нибудь на прощание, — но этот короткий, неловкий разговор отчего-то согрел сильнее, чем можно было ожидать от человека, с которым за пятнадцать лет не сложилось настоящей дружбы.

Оставшись наконец одна в собственной комнате поздним вечером, среди уже начатых сборов — сундук стоял открытым посреди пола, а Ждана всё никак не могла решить, что из вещей действительно понадобится там, на краю света, — она позволила себе наконец то, чего не позволяла ни в покоях княгини, ни во дворе с Усладой, ни в коридоре с Вереней: сесть на пол рядом с сундуком и заплакать по-настоящему, тихо, уткнувшись лицом в колени, — не от жалости к себе, а просто потому, что человеку иногда необходимо выплакать страх целиком, прежде чем найти в себе силы встретить его лицом к лицу на следующее утро.

Выплакавшись, она поднялась, умыла лицо холодной водой из кувшина и принялась наконец за сборы всерьёз — не потому, что страх прошёл (он никуда не делся и вряд ли денется в ближайшие три дня), а потому, что плакать дальше не имело смысла, а вещи сами себя в сундук не уложат. Она откладывала в сторону тёплые платья, толстые чулки — кто-то из старших воспитанниц, слышавших о пустошах Рубежа, уже успел предупредить, что тепла там мало в любое время года, — и, поколебавшись, положила поверх всего маленький глиняный горшок с

ростком той самой розы, что ожила под её рукой этим утром. Глупо, наверное, тащить с собой хрупкое растение через полцарства. Но если её дару предстояло стать единственной защитой от земли, что выпивает жизнь досуха, ей самой хотелось верить в него так же твёрдо, как поверила сегодня верховная княгиня, — а вера, помимо прочего, любит держаться за что-то живое и осязаемое, а не только за собственные слова.

Глава 3. Прощание

Три дня сборов пролетели быстрее, чем Ждана могла себе представить, — быстрее, чем ей хотелось бы, если совсем честно. Она всегда думала, что прощание с единственным домом, который помнила по-настоящему, займёт целую вечность, наполненную долгими разговорами и обстоятельными напутствиями, а вышло иначе: между примерками тёплой дорожной одежды, наставлениями лекарки о том, какие травы брать с собой на случай хвори, и последними уроками этикета от Всемилы Радимировны на само прощание почти не осталось времени.

Даже строгая Всемила Радимировна, которая пять лет подряд утомляла Ждану одними и теми же наставлениями о том, как держать себя за столом чужого властителя, в последний день сборов вдруг отвела её в сторону после общего урока и, вместо очередного правила этикета, неожиданно взяла обе руки Жданы в свои — сухие, тёплые, покрытые старческими пятнами ладони.

— Я тебя пять лет учила, как правильно кланяться да как вести беседу за пиршественным столом, — сказала наставница с непривычной для неё мягкостью в голосе, — и ни разу не сказала того, что следовало сказать куда раньше. Ты одна из самых способных моих учениц, дитя, — не в смысле дара, тут уж как небеса распорядились, а в смысле сердца. Сердце у тебя устроено так, что редко у кого встретишь даже среди взрослых, проживших вдвое дольше твоего. Не позволяй Рубежу его ожесточить, что бы там ни случилось.

Ждана, не ожидавшая подобных слов от наставницы, за все годы ни разу не похвалившей её без того, чтобы тут же не указать на три недочёта, почувствовала, как к глазам подступают совсем не те слёзы, что она проливала последние вечера, — не от страха, а от простой, ничем не разбавленной благодарности.

— Спасибо, матушка Всемила, — только и смогла выговорить она.

— Не благодари, — отрезала наставница, вмиг возвращаясь к привычной суховатой манере, будто устыдившись собственной мягкости, — а лучше не забывай, как правильно держать спину на приёме у чужого двора. Один эффектный обморок от долгого стояния испортит впечатление куда сильнее, чем неверное слово.

Настоящий, неторопливый разговор с Усладой случился только в последний вечер, когда весь Терем уже спал, а обе они сидели на подоконнике девичьей, куда пробирались тайком ещё девочками, чтобы поговорить без чужих ушей.

— Обещай, что будешь мне писать, — сказала Услава, крепко сжимая руку Жданы, как сжимала её и в ту первую ночь после разговора с княгиней. — Каждую неделю, если получится. Хоть пару строк.

— Обещаю, — ответила Ждана. — А ты обещай, что расскажешь мне всё, что у тебя тут будет происходить. Особенно если наконец-то поймёшь, что твой дар предчувствия — не блажь, а нечто, к чему стоит прислушиваться всерьёз.

Услава невесело усмехнулась и отвела взгляд к тёмному окну.

— Насчёт этого, — сказала она тихо, — мне уже несколько дней снится одно и то же: снег, много снега, и холод такой, что перехватывает дыхание. Матушка Всемила говорит, сны сами по себе редко что-то значат. Но после того, что случилось с тобой, я, признаться, стала им доверять куда меньше беззаботно, чем раньше.

— Снег, — повторила Ждана, чувствуя лёгкий, необъяснимый холодок, пробежавший по спине при этом слове. — Думаешь, это про тебя? Про твоё распределение?

— Не знаю, — честно призналась Услава. — Может, просто зима не за горами и сон ничего не значит. А может, где-то там, за краем нашего уютного Терема, меня саму дожидается свой Рубеж. — Она вдруг тряхнула головой, будто отгоняя тяжёлую мысль, и постаралась

улыбнуться легче, чем чувствовала на самом деле. — Впрочем, довольно об этом. Сегодня твой вечер, не мой. Расскажи лучше, что ты вправду думаешь про своего будущего... мужа. Свекровь Всемила замучила тебя наставлениями, как ему кланяться да как за столом сидеть, а вот что ты сама-то о нём знаешь?

— Почти ничего, — призналась Ждана. — Знаю только его титул. Страж. И то, что он хранит какую-то границу. Мне даже имени его не назвали — матушка-княгиня сказала, будто это не в обычае Рубежа, называть властителя по имени чужакам.

— Звучит зловеще, — заметила Услава без всякой насмешки. — Безымянный муж на краю света.

— Звучит, — согласилась Ждана. — Но я стараюсь не думать об этом раньше времени. Какой смысл бояться неизвестного человека, если я могу для начала как следует выспаться перед дальней дорогой?

Обе невесело рассмеялись — тем особым, немного отчаянным смехом, каким смеются перед действительно трудным прощанием, чтобы не расплакаться вместо этого, — и проговорили ещё добрый час обо всём и ни о чём: о детских проказах, о вздорной наставнице по рукоделию, о том, чей жених окажется красивее, если бы им вообще случилось выбирать женихов самим, а не по воле царства.

Уже почти на рассвете, когда обе начали клевать носом от усталости, Услава вдруг посерьёзнела и сказала то, ради чего, кажется, и затевала весь этот долгий разговор:

— Слышала, боярин Твердислав вчера открыто возмущался при дворе всем этим союзом. Говорил, будто негоже царству идти на мир с Рубежом после стольких лет вражды, будто это «слабость, недостойная памяти предков» — дословно так и сказал, мне отец Голубки передавал, он при том разговоре присутствовал по службе.

— Твердислав, — повторила Ждана, вспоминая, что имя это уже проскальзывало где-то на краю внимания в последние дни, но так и не задержалось всерьёз. — Это который из старого боярского рода, что воевал с Рубежом ещё при прежнем князе?

— Тот самый. Говорят, у его семьи там, на границе, когда-то были богатые земли, отобранные Рубежом ещё в прошлую войну. Мир для него — не просто политика, а личная обида, которую он, по слухам, не забыл и не простил. — Услава помолчала, а потом добавила уже тише, с той самой тревогой в голосе, которая иногда, по её собственным словам, служила единственным внятным признаком её дара: — Не знаю почему, но мне беспокойно от одной мысли, что такой человек будет недоволен именно твоей поездкой, Ждана. Будь осторожна там. Не только с Рубежом. С теми, кто остаётся здесь и не хочет этого мира.

Ждана не нашла, что ответить сразу, — предупреждение прозвучало слишком серьёзно для позднего часа и усталых от слёз глаз, — и просто крепче сжала руку подруги в темноте, безмолвно обещая запомнить эти слова, даже если сейчас, на пороге куда более явной и близкой опасности — самого Рубежа, — угроза со стороны недовольного боярина при дворе казалась далёкой и почти абстрактной.

Прощание с остальными обитателями Терема заняло куда меньше времени, чем разговор с Уславой, но каждое из них Ждана унесла с собой отдельным, бережно сохранённым воспоминанием. Голубка, узнав накануне вечером, что её вылечившая старшая подруга уезжает — и, судя по перешёптываниям няnek, уезжает не в гости, — прибежала к ней ранним утром прямо в рубашке, не дожидаясь, пока её оденут как положено, и порывисто, изо всех своих детских сил обняла Ждану за пояс.

— Ты вернёшься? — требовательно спросила она, задрав голову и глядя снизу вверх с той бесхитростной прямоотой, на какую способны только дети её возраста. — Обещай, что вернёшься. Ты обещала мне вылечить всех наших котят, когда они простудятся зимой, а если ты уедешь совсем, кто их будет лечить?

— Обещаю постараться, — ответила Ждана, стараясь, чтобы голос не дрогнул, и присела на корточки, чтобы оказаться с девочкой на одном уровне. — А пока меня не будет, ты можешь сама присматривать за котятками. У тебя ведь тоже доброе сердце, а это уже половина всякого лекарского дела.

Голубка приняла это поручение с той серьёзностью, с какой дети принимают важные, доверенные им взрослыми задачи, и отпустила Ждану только после того, как та торжественно, по-взрослому пожала ей руку в знак уговора.

Верховная княгиня вышла проводить её лично — не к самим воротам, это было бы против обычая, но до порога главных сеней, — и вручила небольшой, туго перевязанный кожаный мешочек.

— Здесь немного серебра на дорожные нужды, — сказала она, — и письмо для Стража от моего имени, с изложением условий союза. Открывать его тебе не полагается, это дело не твоё, а посольское. Но помни, дитя: что бы ни писал этот пергамент сухим языком договоров, ты едешь туда не как пленница и не как жертва, а как полномочная посланница Терема и всего царства. Держи себя соответственно, каким бы страшным ни казался приём на первых порах.

— Постараюсь, матушка-княгиня, — тихо ответила Ждана, принимая мешочек обеими руками.

— И ещё, — добавила княгиня, чуть понизив голос, так что расслышать её могла только сама Ждана, — если почувствуешь неладное — не только от земли, о которой мы говорили, но и здесь, в делах царства, — пиши мне напрямую, минуя все обычные каналы. У тебя есть на это моё личное дозволение, что бы ни говорили тебе прочие советники. Я помню каждое слово из нашего разговора о боярине Твердиславе — да, дитя, мне доложили и об этом тоже, — и не намерена делать вид, что подобные опасения беспочвенны только потому, что удобнее было бы так думать.

Эти слова, произнесённые так тихо и так серьёзно, поразили Ждану едва ли не больше, чем сам вчерашний разговор с Усладой, — она и не подозревала, что верховная княгиня вообще слышала о её опасениях, не говоря уже о том, чтобы принимать их всерьёз наравне с куда более очевидной угрозой самого Рубежа.

Наутро, когда возок с гербом Рубежа на дверце — простым, без всякой пышности знаком в виде переплетённых ветвей — уже дожидался у ворот Терема, а сама Ждана стояла на пороге с дорожным узлом в одной руке и глиняным горшком с розовым ростком в другой, Услава обняла её в последний раз крепко, до боли, и прошептала на ухо одно-единственное напутствие, которое Ждана пронесла с собой через всю дальнейшую дорогу:

— Возвращайся живой. Всё остальное — как получится, но живой, слышишь?

Возница, немолодой хмурый мужчина в тёмной ливрее с тем же гербом переплетённых ветвей, что и на дверце возка, терпеливо дожидался, не торопя, но и не скрывая, что время в пути ограничено. Ждана забралась в возок, устроила у себя в ногах узел и горшок с ростком так, чтобы ни то ни другое не опрокинулось на первой же кочке, и в последний момент, уже когда колёса тронулись с места, высунулась в маленькое оконце, чтобы бросить прощальный взгляд назад.

Терем судьбы — высокое, приземистое здание из потемневшего от времени дерева, с резными наличниками на окнах, вырезанными, по преданию, ещё самой первой настоятельницей, — стоял на своём привычном месте таким же, каким Ждана видела его тысячи раз за пятнадцать лет, и всё же теперь, в это утро, он выглядел иначе: меньше, чем помнилось, и одновременно неизмеримо дороже, чем она успевала осознать за все годы, что называла его домом, не задумываясь об этом всерьёз. На крыльце, провожая её взглядом, стояла маленькая фигурка Уславы, а рядом с ней — Голубка, всё ещё в наспех накинутой поверх рубашки шали, размахивающая рукой так отчаянно, будто одним этим жестом можно было удержать возок на месте чуть дольше положенного.

Ждана махала в ответ, пока изгиб дороги не скрыл из виду сперва фигурки у крыльца, а затем и саму крышу Терема, — и только тогда, оставшись в возке одна, наконец позволила себе выдохнуть тот груз, что копился все последние три дня сборов, и повернуться лицом вперёд, навстречу дороге, которая вела туда, где ждала её вся оставшаяся жизнь — какой бы она ни оказалась.

Глава 4. Дорога на Рубеж

Первые два дня пути ничем не отличались от любой другой дальней дороги, какую Ждане доводилось видеть в детстве, пока её везли в Терем из родной деревни: пыльный тракт, редкие постоянные дворы, где возница менял лошадей и позволял себе и пассажирке короткий отдых, привычные поля и перелески, желтеющие первой осенней позолотой. Она даже начала понемногу верить, что дорога эта окажется не такой уж страшной.

На первом же ночлеге, при свете единственной свечи в тесной комнате постоялого двора, она вынула из дорожного узла лист бумаги и перо, позаимствованное у писца Терема, и, как и обещала, принялась за письмо Усладе — хотя отправить его можно было бы только с обратной оправой, если та вообще случится в ближайшее время. Писала она не столько ради самого письма, сколько ради того особого чувства, которое давал разговор с бумагой вместо пустоты: будто подруга и вправду сидела где-то неподалёку и слушала, кивая в нужных местах.

«Дорога пока спокойная, — выводила она аккуратным почерком, за который её так хвалили на уроках письма. — Возница молчалив, но не груб. Поля за окном такие же, как у нас, разве что деревни встречаются реже. Пишу тебе, чтобы не думать слишком много о том, что ждёт впереди, — говорят, это помогает. Помогает ли, покажет вечер третьего дня, когда мы, по расчётам возницы, должны достичь самой границы».

Она не могла тогда знать, насколько точным окажется это последнее предложение. Вера в спокойствие дороги продержалась ровно до утра третьего дня, когда возок миновал последнюю деревню перед границей и пейзаж за окном начал меняться так, что не заметить этого было попросту невозможно.

Сперва поредели деревья — не так, как редет лес перед вырубкой, а как-то иначе, будто сама земля постепенно теряла охоту рождать новую жизнь. Потом исчезли птицы: Ждана не сразу осознала, чего именно не хватает в тишине за окном, пока не поняла, что уже добрый час не слышала ни единого щёбета. К полудню третьего дня трава по обочинам дороги из зелёной сделалась сначала желтоватой, потом серой, а ещё через несколько вёрст пропала вовсе, уступив место голой, потрескавшейся земле, будто здесь не было дождя уже который год подряд, хотя небо над головой оставалось самым обычным, летним, без единого намёка на засуху.

— Скоро уже сама граница, — сказал возница, впервые за всю дорогу заговорив без прямого вопроса с её стороны. Голос его звучал глухо, без всякого выражения, будто он давно отучился удивляться виду подобных земель. — Дальше поедem медленнее. Лошади эти места не любят.

Ждана поймала себя на том, что бездумно поглаживает через ткань узла маленький глиняный горшок с розовым ростком, будто ища в этом жесте опоры больше, чем сам росток мог ей дать. Решившись, она осторожно приоткрыла оконце возка, спустилась на ступеньку в момент недолгой остановки и присела у самой обочины, там, где серая, потрескавшаяся земля выглядела особенно безнадёжно, — и положила ладонь прямо на голую почву.

То, что она почувствовала, не было похоже ни на что из прежнего опыта с угасающими розами и усталыми детьми в лечебнице. Земля под ладонью не просто устала — она была вычерпана почти до дна, как колодец, из которого годами брали воду, не давая ему наполниться заново. Дар отозвался не привычным ровным теплом, а острой, почти болезненной натугой, будто она пыталась напоить водой не одну грядку, а целое поле разом.

— Ну же, — прошептала она, повторяя то же слово, что говорила чёрной розовой ветке всего несколько дней назад, хотя здесь оно звучало куда менее уверенно. — Хоть немного. Мне много и не нужно, только показать, что получится.

Она держала ладонь на земле долгую, мучительную минуту, чувствуя, как собственные силы утекают куда быстрее обычного, — а затем, у самых кончиков пальцев, там, где

земля соприкасалась с её кожей, проступил крошечный, едва заметный зелёный пушок, тоньше волоса, слабее самого хилого весеннего ростка, но настоящий, живой, выросший там, где минуту назад не было ничего, кроме мёртвой пыли.

Ждана отдернула руку, тяжело дыша, — голова слегка кружилась, будто после долгого бега, — и всё же не смогла сдержать короткого, изумлённого смеха. Получилось. Не много, не эффектно, но получилось — здесь, на самой границе земель, которые, по словам всех вокруг, не щадили никого и ничего.

— Не советую так делать часто без нужды, — заметил возница, наблюдавший за этой сценой без всякого удивления, будто повидал уже не одну подобную попытку за годы службы. — Земля здесь берёт свою цену за всё, что ей дают, — и за жизнь тоже, только не сразу, а после, когда сама уже не ждёшь.

Слова эти засели в памяти Жданы куда прочнее, чем ей хотелось бы, пока возок медленно, осторожно катился дальше — туда, где на горизонте уже начали проступать смутные очертания чего-то похожего на крепостные стены, тёмные и высокие, будто вырастающие прямо из самой пустоши без единого перехода между жизнью и её полным отсутствием.

К границе они подъехали уже в густых сумерках — не потому, что путь занял так много времени, а потому, что здесь, у самого Рубежа, сумерки, казалось, наступали раньше положенного часа, будто сам свет неохотно задерживался над этой землёй дольше необходимого. Ворота — тяжёлые, кованые, без единого узора, лишь с тем же гербом переплетённых ветвей, что и на возке, — со скрипом отворились ещё до того, как возница успел подать голос, словно их появление здесь уже ждали.

За воротами, освещённая единственным тусклым факелом, стояла небольшая группа встречающих — не многолюдная торжественная делегация, какую Ждана невольно рисовала себе в самых оптимистичных мечтах о собственном приезде, а всего пятеро или шестеро слуг в тёмных, поношенных одеждах, молча, без единого слова приветствия наблюдавших за тем, как возок останавливается у самых ворот.

Ждана вышла наружу, стараясь держать спину так ровно, как учила Всемила Радимировна, и произнесла заготовленные заранее слова приветствия — вежливые, положенные по этикету обеих сторон. Ответом ей было лишь молчание — не грубое, не враждебное в открытую, а какое-то иное, тяжёлое, настороженное молчание людей, которые слишком много раз видели, чем заканчивается прибытие очередной невесты в эти стены, чтобы позволить себе радоваться новому лицу раньше времени.

Наконец один из слуг, пожилой мужчина с усталым, изборождённым морщинами лицом, коротко поклонился — не столько ей, сколько формальному долгу вежливости — и произнёс всего несколько слов, ровным, лишённым всякого тепла голосом:

— Прошу за мной, госпожа. Господин ждёт.

Больше он не сказал ничего — ни слова о том, каков собой этот «господин», ни единого намёка на то, чего ей следует ожидать за воротами, — и от этого угрюмого, почти зловещего в своей скупости молчания у Жданы внутри похолодело сильнее, чем от вида самой мёртвой земли, оставшейся позади.

Двор за воротами оказался вымощен старым, местами растрескавшимся камнем, и на этой мостовой, вопреки всем ожиданиям, стояли несколько каменных же кадок — некогда, судя по всему, предназначавшихся для цветов или декоративных деревьев, а теперь пустых, наполненных лишь сухой, слежавшейся землёй без единого стебля. Ждана невольно замедлила шаг рядом с одной из них, и провожатый, заметив это, коротко бросил через плечо, не оборачиваясь:

— Не трудитесь, госпожа. Тут уже пробовали. Не приживается ничего, сколько ни сажай.

Она не стала спорить и не стала объяснять, что пробовала не посадить, а просто прикоснуться, — какой смысл делиться этим с чужим, усталым человеком, который наверняка слышал уже десятки похожих обещаний от десятков людей, ничем в итоге не помогших этой земле.

Дальше путь лежал через длинную галерею с высокими сводами, где факелы в стенных подставках горели через один, оставляя между собой широкие полосы почти полной темноты. Ждана шла, стараясь не отставать от провожатого и одновременно украдкой рассматривая то небольшое, что позволял разглядеть скудный свет: тяжёлые гобелены на стенах, выцветшие от времени до такой степени, что сюжеты на них читались с трудом; резную мебель в редких нишах, покрытую тонким слоем пыли, будто ею давно не пользовались; и полное, абсолютное отсутствие каких-либо живых красок — ни цветов в вазах, ни зелени, ни даже яркой ткани, всё выдержано в приглушённых, будто выцветших от долгого горя тонах.

— Здесь всегда так тихо? — не удержалась она от вопроса, когда молчание галереи стало давить сильнее, чем она готова была выносить без единого звука, кроме шагов.

Провожатый ответил не сразу, будто прикидывая, стоит ли вообще отвечать чужачке на подобные вопросы в первый же час её пребывания.

— Тихо здесь с тех пор, как я сам мальчишкой начал служить в этом доме, госпожа, — сказал он наконец, и в голосе его прозвучало нечто похожее на застарелую, привычную усталость. — А это, почитай, добрых сорок лет минуло. Господин не любит шума. Да и радоваться особо нечему было всё это время, если начистоту.

Он произнёс это без всякой издёвки, без желания напугать её нарочно — скорее с той же будничной прямоотой, с какой сама верховная княгиня говорила о смертях прежних невест, — и от этой самой будничности слова его засели в памяти Жданы глубже, чем засел бы любой драматичный, нарочито зловещий рассказ.

Галерея наконец вывела к тяжёлой двустворчатой двери, у которой провожатый остановился, коротко поправил ворот собственной ливреи, будто готовясь к чему-то важному, и повернулся к Ждане с первым за весь вечер подобием сочувствия во взгляде.

— Дальше я не пойду, госпожа, — сказал он тихо. — Господин примет вас один. Соберитесь с духом, коли получится. Он не злодей, что бы ни болтали по трактирам о нашем доме, — но и добрым словом баловать не приучен, уж простите за прямооту.

С этими словами он толкнул тяжёлую створку двери и отступил в сторону, пропуская Ждану вперёд, в темноту покоев, откуда навстречу ей не доносилось ни звука, ни света, ни малейшего признака того, кто именно дожидался её внутри.

Ждана на мгновение замерла на пороге, чувствуя, как позади неё провожатый уже удаляется прочь по галерее, унося с собой последний теплившийся факел и оставляя её один на один с этой дверью и тем, что скрывалось за ней. Она вспомнила вдруг — совсем некстати, но от того не менее ясно — обещание, данное Услады на прощание: возвращайся живой. Вспомнила Голубку с её нехитрым уговором про котят. Вспомнила верховную княгиню, назвавшую её храбрее, чем она сама о себе думала.

«Что ж, — подумала она, крепче перехватывая узел в одной руке и нащупывая другой холодную ручку двери, — пора узнать, права ли была матушка-княгиня на этот счёт».

Она сделала первый шаг в темноту, и дверь за её спиной сама собой, без чужой руки, медленно и беззвучно затворилась.

Глава 5. Первая встреча

Глаза не сразу привыкли к темноте покоев — а когда привыкли, оказалось, что темнота эта не полная: в дальнем конце просторной залы, у высокого, незанавешенного окна, за которым виднелось лишь чёрное, беззвёздное небо над мёртвой землёй, теплился слабый, ровный свет одинокой лампы. Именно там, спиной к двери, стояла высокая мужская фигура — неподвижная настолько, что Ждана на мгновение усомнилась, не ошиблась ли она покаями, не приняла ли статую или доспех на подставке за живого человека.

— Ты вошла, — произнёс он, не оборачиваясь, и от звука этого голоса — низкого, ровного, лишённого какой-либо приветливости — Ждана почувствовала, как по спине пробежал холодок, никак не связанный с прохладой покоев. — Дверь закрывается сама только для тех, кому здесь рады. Или для тех, кому отсюда уже некуда бежать. Выбирай сама, какое из двух объяснений тебе больше по душе.

— Мне не сказали, что дверь умеет решать подобное сама, — ответила Ждана, стараясь, чтобы голос звучал ровнее, чем ощущалось внутри. — Я здесь потому, что так решили в Тереме и при дворе, а не по собственному выбору бежать или оставаться.

Он наконец обернулся — медленно, без спешки, будто сам процесс поворота требовал от него сознательного усилия, — и Ждана впервые увидела лицо человека, чьё имя ей так и не назвали.

Он оказался моложе, чем она представляла себе все эти дни, слушая рассказы о многовековом проклятии рода, — на вид не старше тридцати лет, хотя что-то в глазах, в самой манере держаться выдавало несоответствие между этой млажавой внешностью и явно куда более долгим сроком, прожитым за ней. Тёмные волосы, резкие, будто вырезанные из камня черты лица, и глаза — не по-человечески светлые, почти прозрачные, смотревшие на неё сейчас с холодным, неприкрытым любопытством, в котором не было и намёка на радость от встречи.

— Значит, тебя прислали, — сказал он, оглядывая её с ног до головы тем же взглядом, каким осматривают доставленный товар, а не невесту. — Как всех прежде тебя. Как я и предупреждал вашу княгиню, что пришлют. Она всё-таки не послушала.

— Простите? — не поняла Ждана.

— Я просил не присылать никого, — пояснил он всё тем же ровным, лишённым эмоций тоном. — Три раза просил, если быть точным, — по числу тех, кого уже не вернуть Терему. Но, видно, мир между нашими землями важнее для вашей княгини, чем жизнь очередной воспитанницы, чьё имя даже никто не удосужился сообщить мне заранее.

Эти слова, произнесённые так буднично, так спокойно, ужалили сильнее, чем ужалила бы прямая грубость, — Ждана почувствовала, как в груди одновременно закипают обида и что-то похожее на невольное сочувствие, странно перемешанные друг с другом.

— Меня зовут Ждана, — сказала она твёрдо, решив, что если уж этот разговор начинается настолько неласково, то по крайней мере не начнётся без её собственного имени, произнесённого ею самой, а не переданного через посольские бумаги. — И, раз уж на то пошло, я тоже не напрашивалась на эту поездку. Меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я замуж за человека, чьего имени мне даже не назвали.

Что-то дрогнуло в его лице — едва заметно, на одно короткое мгновение, будто прямота её ответа застала его врасплох сильнее, чем он готов был показать.

— Меня зовут Страж, — ответил он после паузы. — Так меня называют здесь, и так тебе следует называть меня впредь. Другого имени у меня для тебя нет.

— У всякого человека есть имя, данное при рождении, — заметила Ждана, не удержавшись. — Даже если он давно решил, что оно ему больше не принадлежит.

— Я не обычный человек, — отрезал он, и в голосе его впервые прорезалось что-то похожее на резкость, на едва сдерживаемое раздражение. — И советую тебе усвоить это как можно быстрее, госпожа Ждана, если рассчитываешь провести здесь достаточно времени, чтобы это имело значение.

Он подошёл ближе — не вплотную, а на расстояние, достаточное, чтобы разглядеть её лицо при свете лампы, но явно рассчитанное так, чтобы не сократить дистанцию сверх необходимого, — и посмотрел на неё долгим, изучающим взглядом, в котором сквозь холод начинало проступать что-то похожее на настороженное любопытство.

Только теперь, вблизи, Ждана заметила то, чего не разглядела издали: тёмные тени усталости под этими нечеловечески светлыми глазами, будто он не спал уже очень давно — не одну ночь и не одну неделю, а куда дольше, чем вообще способен выдержать без сна обычный человек. Плечи его, несмотря на всю прямую, властную осанку, держались с той неявной, тщательно скрываемой тяжестью, с какой держится человек, несущий груз, о котором давно перестал думать как о чём-то временном. На мгновение ей стало почти жаль его — острое, незванное чувство, которое она поспешила задавить, вспомнив, с какой ледяной прямоотой он только что говорил о её возможной гибели как о деле почти решённом.

— Ты боишься? — спросил он вдруг, без всякого перехода.

— Да, — честно ответила Ждана, не видя смысла лгать человеку, который, судя по всему, немедленно распознал бы фальшь. — Очень.

— Хорошо, — сказал он неожиданно, и от этого короткого слова Ждана опешила больше, чем от любой из прежних резкостей. — Значит, у тебя достаточно ума, чтобы бояться того, что действительно опасно. Плохо было бы, если бы ты приехала сюда со спокойной душой, вообразив себе какую-нибудь сказку про суженого, которого нужно только пожалеть и обогреть, чтобы он оттаял.

— А если я всё-таки надеялась на что-то подобное? — не удержалась Ждана, сама не зная, что заставило её произнести эти слова вслух — усталость с дороги, или задетая гордость, или что-то ещё, чему она пока не могла подобрать названия.

— Тогда мне придётся разочаровать тебя прямо сейчас, — ответил он, и в голосе его прозвучала та же ровная, будничная прямота, с какой верховная княгиня говорила о смертях прежних невест. — Держись от меня на расстоянии, госпожа Ждана. Не из вежливости и не из холодности характера, хотя и того и другого во мне достаточно, — а ради твоей собственной безопасности. Это единственная просьба, которую я действительно рассчитываю услышать выполненной.

— Почему? — спросила она тихо. — Что случится, если я не буду держаться на расстоянии?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.